

РЕТРО-ДЕТЕКТИВ

ПОРТРЕТ, КОТОРЫЙ СТАРЕЕТ



Надежда Чародейская

Санкт-Петербург. 1884

Надежда Чародейская

Портрет, который стареет

<https://litres.ru/74444618>

SelfPub; 2026

Аннотация

Санкт-Петербург, зима 1884 года. Фотограф Вересов получает от коллеги Багрова две карточки купца Шустова, снятые с одного негатива: на одной покойный моложав и доволен жизнью, на другой — глубокий старик. Вересов, который не верит ни в чудеса, ни в проклятия, сразу видит: старость купцу нарисовали. Карандашом, на стекле, умелой рукой.

А когда ретушёра, делавшего эту работу, находят отравленным в его собственном подвале, курьёз оборачивается убийством. За «стареющим портретом» стоят не духи, а живые люди: скорбная вдова, услужливый управляющий и доктор, лечивший покойного «от сердца». И все трое очень не хотят, чтобы кто-то увидел, каким купец был на самом деле.

Вересову предстоит снять их — в прямом смысле: поймать на свет, как ловят изображение в тёмной комнате.

Ретро-детектив в духе Акунина и Чижова о том, как стареет на портрете не человек, а чужая жадность, — и о фотографе, который возвращает людям их настоящие лица.

Содержание

Пролог	4
Глава первая. Карточка с чужой старостью	11
Глава вторая. Штрихи на негативе	25
Глава третья. Ближний круг	44
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Надежда Чародейская

Портрет, который стареет

Пролог

Началось это всё, как начинаются самые скверные истории, — с именин и с портрета, который повесили на стену.

В феврале восемьдесят третьего года купец первой гильдии Тимофей Гордеевич Шустов, хлебная торговля и паровозная контора, справлял свои пятьдесят пять лет. Справлял, по обыкновению, не пышно — купец был из тех, кто шумит на бирже, а дома сидит тихо, — но с достоинством: к завтраку подали кулебяку, к обеду съехались племянники, а к вечеру принесли тот самый портрет, о котором в доме шептались уже вторую неделю. Портрет был заказной, парадный, снятый в знаменитом ателье, отпечатанный на плотной бумаге с тёплым тоном и вставленный в раму орехового дерева, — и на нём Тимофей Гордеевич выходил таким, каким желал себя видеть: осанистым, гладким, с цепочкой поперёк жилета и с тем спокойным, чуть насмешливым прищуром, с каким он привык встречать и покупателя, и кредитора.

Дом Шустовых на Морской был из тех купеческих особняков, где достаток не кричит, а достойно молчит: лепнина по потолкам — без вычур, ковры — тёмные, глухие, мебель

— морёного дуба, и во всех комнатах тот особый, настоящий за годы запах воска, капусты и хорошего табаку, по которому приезжего человека сразу признают в доме старинного уклада. В таком доме ничего не менялось десятилетиями, и потому всякая перемена бросалась в глаза, как заплатка на парадном сюртуке.

А перемена в доме была, и большая: год назад Тимофей Гордеевич, овдовев, женился во второй раз. Покойницу свою, Марфу Саввишну, он, по совести, любил и тридцать лет прожил с ней душа в душу, детей поднял и в люди вывел; но человеку в пятьдесят четыре года одному, без хозяйки, и скучно, и несолидно, а тут как раз подвернулась Полина Андреевна — молодая, тихая, из обедневших дворян, — и Шустов, к удивлению всей родни, не стал тянуть и повёл её под венец. Родня, впрочем, подивилась недолго: приданого за молодой не дали, жила она в доме смирно, мужу не перечила и хозяйство приняла с охотой, — чего же ещё купцу надобно? Один лишь брат покойной жены, Никанор Саввич Охлобыстин, тогда ещё фыркал в усы и называл всё это «стариковской блажью», но его и слушать-то никто не стал.

И вот теперь, спустя год, в доме висел портрет, и Шустов, глядя на него, впервые за долгое время чувствовал себя в этом доме так, как и подобает хозяину: молодо, крепко и всему голова.

Портрет повесили в кабинете, над конторкой, и весь вечер Шустов, проходя мимо, косил на него глазом и оставался до-

волен: человек на стене был он сам, только лет на десять помоложе и на полпуда посолиднее. Жена, Полина Андреевна, молодая, красивая, в тёмном платье с кружевом, подошла, поправила раму и сказала негромко, что теперь, мол, батюшка Тимофей Гордеевич, вы у нас как живой будете, что ни день — то моложе. Шустов хмыкнул, потрогал цепочку и пошёл спать довольный.

А через месяц, в начале марта, он зашёл в кабинет спозаранку, ещё до чаю, — и остановился на пороге так, будто наступил на чужое.

На стене висел тот же портрет, в той же раме, — и человек на нём был тот же, да не тот. Куда-то делась гладкость; под глазами легли тени, щёки осели, а в висках, которых Шустов в зеркале у себя не видывал, серебрилась седина. Человек на портрете смотрел на него с той особенной, усталой терпеливостью, с какой смотрят старики, уже всё про себя понимающие.

Шустов, надо отдать ему должное, не сразу поверил глазам. Он снял портрет со стены, поднёс к окну, к самому свету, и долго водил по нему взглядом, будто надеясь, что это пыль. Не пыль. Он поднёс карточку к лампе, потом снова к окну, и при каждом повороте лицо старика на карточке то наливалось тенями, то, напротив, светлело, но не молодело ни на волос. Тогда он кликнул горничную, велел зажечь все свечи, какие есть, и при этом свете оглядел портрет ещё раз — вплотную, так, что дохнуло на стекло.

— Это что ж такое? — спросил он вслух, сам не зная, к кому обращается. — Я это или не я?

Горничная Глаша, робея, потянулась было взглянуть, но Шустов не дал: отмахнулся, прошёл к зеркалу в простенке и долго глядел на себя — на свои щёки, на лоб, на виски. В зеркале был он: крепкий, гладкий, в меру седоватый, но никак не старик. В зеркале Шустову было пятьдесят пять. А с портрета на него глядел человек, которому, по всему видать, под семьдесят.

— Полина! — крикнул он, и в голосе его впервые за много лет прорвалось то, чего он сам в себе не любил и не ждал: растерянность.

Полина Андреевна пришла, взглянула, ахнула и перекрестилась.

— Знак это, Тимофей Гордеевич, — сказала она тихо, и в голосе у неё, как показалось Шустову, дрогнуло нечто похожее на страх, — нехороший знак. Будто предупреждает кого-то.

— Кого предупреждает-то? — спросил Шустов, а сам всё не выпускал раму, и пальцы у него побелели.

Полина Андреевна промолчала, только поправила ему ворот и позвала доктора.

Доктор, Ферапонт Власьевич Клещов, старичок лет шестидесяти, с бакенбардами и с тем неторопливым, успокаивающим бормотанием, какое бывает у людей, привыкших говорить с больными, приехал к вечеру, выслушал, пощупал,

посмотрел на портрет поверх очков и вздохнул. Осматривал он, надо отдать ему должное, обстоятельно: велел раздеться до пояса, приложил ухо и к груди, и к спине, долго мямля запястье, считая пульс, а под конец попросил показать язык и так долго и с таким сомнением его разглядывал, что Шустов, человек и без того напуганный, совсем упал духом.

— Ну что, Ферапонт Власьевич? — не выдержал он. — Говори уж как есть. Я не баба, стерплю.

Доктор, пряча трубочку в жилетный карман, помолчал, потом покосился на портрет, на котором купец глядел на них обоих уже совсем чужим, стариковским взглядом, и развёл руками.

— Сердце, батюшка, сердце, — сказал он. — Оно у вас, Тимофей Гордеевич, давно уж не то, что в молодости. А снимок — он, знаете, врать не умеет. Он вам, голубчик, правду и показывает. Это у вас в лице проступило, что в сердце давно сидит.

— Да я ж только вчера... — начал было Шустов и осёкся, потому что вчера он, если по совести, поднимался по лестнице и вправду отдышался дольше обычного, и в боку у него, тоже по совести, что-то такое покалывало.

— Вот-вот, — подхватил доктор, уловив его замешательство, — и лестница эта, и колотье в боку — это всё оно, родимое. Вы, Тимофей Гордеевич, человек в летах, вам теперь покой надобен, а не дела. Дела подождут. — Он встал, застегнул сюртук и, уже в дверях, обернулся, глядя поверх очков:

— И вот ещё что, голубчик. Портреты эти, они ведь неспроста темнеют. Народ-то не зря говорит: коли человек на картонке стареет, стало быть, сам он идёт к исходу. Вы бы, батюшка, о душе подумали. О завещании, о распоряжениях. В нашем с вами положении, — он понизил голос, — в нашем положении, батюшка, медлить не след.

И ушёл, а Шустов остался сидеть в кабинете, глядя то на портрет, то на собственные руки, которые вдруг показались ему не такими крепкими, как ещё месяц назад, — и впервые в жизни подумал о том, о чём за пятьдесят пять лет не думал ни разу: а ну как и впрямь недолго осталось?

А через неделю портрет постарел ещё. И ещё через две — ещё. И когда в начале апреля Шустов, глядя в лицо старика на стене, уже не узнавал в нём себя, — тогда-то он и позвал стряпчего, и переписал духовную, и отписал всё, что нажил за тридцать лет, молодой жене Полине Андреевне, а брату покойной первой жены, Никанору Саввичу Охлобыстину, оставил, как тот сам выразился потом на суде, «один фиговый лист» — образ, шубу и пару облигаций на память.

Было, впрочем, в этом медленном, по неделям, угасании и нечто до того скверное, что Шустов не мог потом вспоминать без содрогания: он как будто наблюдал за собственной смертью со стороны, как посторонний. Каждое утро он подходил к зеркалу и подолгу вглядывался в себя, выискивая то, что накануне увидел на портрете, — и ведь находил! Находил и тени под глазами, и седину, и ту особенную, землистую

бледность, какой раньше не было. А Полина Андреевна, заботливая, тихая, только головой качала и всё подливала ему капель, которые привозил доктор, и всё просила «не глядеть на портрет-то, Тимофей Гордеевич, он вас расстраивает». А он глядел. Не мог не глядеть. И чем дольше глядел, тем меньше оставалось в нём прежнего, крепкого, купеческого — того, что с годами не стареет, а только делается жёстче.

К лету он уже не выходил к завтраку, к осени перестал подниматься на второй этаж, а к зиме и вовсе слёг. Доктор бывал теперь каждый день, всё щупал пульс и всё качал головой, а Бортнев, управляющий, приносил бумаги и ждал, пока хозяин, с трудом удерживая перо, поставит свою, уже почти непохожую на прежнюю, подпись. И никто в доме, кроме разве что горничной Глаши, не замечал, что портрет в гостиной давно уже висит другой — новый, ещё более старый, принесённый управляющим «намедни снятый», — и что купец на нём смотрит так, как смотрят люди, у которых уже не осталось ни воли, ни страха, а только усталость.

А в феврале восемьдесят четвёртого года, ровно год спустя, уже после того как Шустов слег и тихо, по-христиански, отошёл «от сердца», фотограф Багров с Гороховой вынул из своего шкафа тот самый негатив, с которого снимал купца к именинам, — и напечатал с него карточку. И карточка вышла — не такая.

Так всё и началось.

Глава первая. Карточка с чужой старостью

В ателье на Загородном в те святочные дни было пусто и звонко, как в колокольне после службы: заказчики, занятые визитами и подарками, о фотографии вспоминали в последнюю очередь, и потому Макар, убрав приёмную к одиннадцати, сидел у печки на лавке и вполголоса, чтобы не мешать барину, напевал что-то про мороз-воеводу. За окнами, на Загородном, скрипел снег, звякали колокольцы, и в морозном воздухе, как в проявителе, медленно проступал город — весь в инее, в дымках над трубами, в синеватом святочном полумраке, какой бывает только в Петербурге в первые дни января.

Святки в тот год стояли морозные, звонкие, и по всему Загородному от зари до зари шёл тот особенный, весёлый, полупьяный гул, какой бывает в городе только в эти две недели: то ряженые с песней прокатят на разукрашенных санях, то гимназисты с трещотками, то, глядишь, и сам хозяин колбасной выйдет на крыльцо в бабьем платке — «поворожить». Макар, у которого от всякого ряженого в груди что-то сладко замирало, то и дело прилипал к окну и вздыхал, а Вересов, напротив, к святочному веселью был равнодушен, как и ко всякому шуму, отвлекавшему от дела. Впрочем, и к святкам

вообще: родился он, по его собственным словам, «без святочной косточки», гадать не любил, ряженных не жаловал, а в бабьи переодевания и вовсе не верил, ибо двадцать лет снимая людей, давно выучил: человек и безо всякого ряжения — такой переодетый, что в ином костюме и не узнаешь. Зато Макар, деревенский, в эти две недели оживал, как старая пластина в проявителе: всё ему мерещилось, что в воздухе носится что-то нездешнее, и он то и дело подходил к Вересову с рассказами — то про зеркало, в которое нельзя глядеться на ночь, то про карты, которые выходят сами, то про портрет, который будто бы «плачет» в одном доме на Песках. Вересов слушал эти рассказы вполуха, но не перебивал: знал, что для Макара святочная жуть — вроде той же светописи, только наыворот, и что человеку, который весь год проявляет чужие лица, иной раз надобно и самому чего-нибудь побояться, чтобы не зачерстветь.

— Ты, Макар, — говорил он, бывало, не поднимая головы от отпечатков, — всё про нечистую силу мне рассказываешь. А я тебе вот что скажу: нечистая сила, она ведь не в зеркалах и не в картах. Она в том, что человек человеку делает, пока другой человек спит. Вот этого и бойся. А остальное — так, святочные фонарики.

Макар на это только вздыхал и уходил к печке, бормоча, что барин его, конечно, умный, да только «в эти дни и умному не мешало бы перекреститься».

Впрочем, дела в эти дни не было. В ателье на Загородном

целыми днями было пусто, тихо и, как выражался Макар, «до того благолепно, что хоть образ вешай». Макар от скуки дважды перемыл полы, трижды перебрал кассеты и в конце концов сел у печки с тряпкой, полируя и без того блестящую латунную ножку штатива.

— Барин, — сказал он, не отрываясь от своего занятия, — а слышали, что в городе-то бают? Будто у одного купца на Морской портрет на стене сам собой стареет. Висит-висит, а на нём человек — всё старше и старше, хоть сам-то он живехонек. Вот вам и святки.

— Бают, — отозвался Вересов, не поднимая головы. — Всегда бают. На святки, Макар, и не такое бают: и про зеркала, и про карты, и про портреты. А ты слушаешь.

— Дык как не слушать-то, — обиделся Макар. — Народ зря болтать не станет.

— Ещё как станет, — усмехнулся Вересов. — Народ, брат, для того и существует, чтобы болтать. А наше с тобой дело — смотреть. Болтовня — она у кого на языке, а у нас — на стекле. Вот и вся разница.

Вересов же сидел в приёмной за конторкой и перебирал вчерашние отпечатки, раскладывая их, по давней привычке, не по алфавиту и не по годам, а по свету: сперва те, что сняты у окна, потом — при лампах, потом — вовсе тёмные, кабинетные, где человек выходит из мрака, как из воды. Он любил это занятие за то, что в нём не было никакого смысла, кроме одного: руки помнят работу, а голова в это время сво-

бодна. А голова у Вересова в тот день была беспокойна, хотя он и сам бы не сказал отчего.

Был Сергей Ильич Вересов невысок, но ладен, держался прямо и одевался с той небрежной, почти дерзкой щеголеватостью, какая идёт только людям, уверенным в себе до конца. Волосы — светлые, зачёсанные назад так гладко, что, кажется, сам мороз по ним прошёлся гребнем, — он то и дело поправлял привычным движением: не то чтобы они падали, а так, для порядка, как иной оглаживает усы, хотя усы у него давно не росли. Лицо у Вересова было чисто выбритое, с подвижными, высоко поднятыми бровями, от которых всё лицо принимало выражение человека, чуть-чуть над всем посмеивающегося; а на левой скуле, от виска к щеке, белел тонкий, едва заметный шрам-ожог — след давнего несчастья с реактивами, когда в тёмной комнате, говорят, полыхнуло так, что соседи потом неделю принюхивались. Шрам этот Вересов не прятал и не выставлял; он просто был, как бывает у человека, который однажды слишком близко поднёс фонарь к чужой темноте.

— Барин, — сказал Макар, не оборачиваясь от печки, — а ну как нынче опять никого не будет? Дык я, пожалуй, калачи доем.

— Ешь, — рассеянно отвечал Вересов, не поднимая глаз. — Только оставь один на всякий случай. По святкам, Макар, всегда кто-нибудь да придёт. Святки — такое время: у кого кошелёк пропал, у кого совесть, а кто и сам себя ищет. Все

к нам.

— Совесть-то, — хмыкнул Макар, — мы, слава тебе господи, не проявляем.

— Это уж как посмотреть, — усмехнулся Вересов и отложил лупу. — Совесть, она ведь не в церковной лавке продается и не в ломбард сдаётся. Она у человека внутри сидит, как негатив в кассете, — и ежели её не проявлять, так она там до поры и лежит, в темноте. А наша с тобой работа как раз в том и состоит, чтобы вытащить её на свет. Только не свою, а чужую. Чужую совесть, Макар, проявлять сподручнее всего: своя-то у всякого под замком, а чужая — вот она, на стекле, вся как на ладони. — Он помолчал и усмехнулся. — Так что не «слава тебе господи», а дай-то бог, чтобы и у нас с тобой, когда дойдёт до дела, совесть на стекле вышла чистой. А то ведь и мастер на мастера, знаешь, поглядывает.

Макар, не совсем поняв, но на всякий случай покивав, ушёл к печке, а Вересов, проводив его взглядом, снова склонился над отпечатками, и в приёмной опять стало тихо.

Он как раз собирался сказать ещё что-то — про то, что совесть, между прочим, тоже выходит на стекле, особенно у тех, кто уверен, что её у него нет, — как снаружи, на морозе, закрипели шаги, хлопнула дверь, и в приёмную, вместе с клубом пара, вошёл посетитель.

Был он невысок, сутуловат, лет пятидесяти, в шубе с чужого, как показалось Вересову, плеча и с портфелем, который он прижимал к груди обеими руками, как прижимают

то, что жалко уронить. Лицо у него было тихое, усталое, какое бывает у людей, много лет просидевших в темноте: бледное, с красными, словно бы припухшими от красного фонаря веками. И по этому лицу, по этой бережной, почти робкой манере держать портфель Вересов сразу узнал собрата — фотографа. Такие лица, знал он, бывают только у тех, кто двадцать лет смотрит не на людей, а на их отпечатки.

Макар, заслышав шаги, метнулся было к двери, но гость уже вошёл — и вошёл так, как входят люди, не привыкшие ни к парадным, ни к швейцарам: боком, придерживая дверь плечом, словно боясь, что она захлопнется и не впустит. С морозного воздуха, вместе с ним, ворвался в приёмную запах снега, овчины и того особенного, чуть кисловатого табаку, какой курят в небогатых мастерских. И Вересов, ещё не разглядев лица, уже знал, что гость этот — из своих, из ремесленников: слишком бережно он поставил портфель на край конторки, слишком привычно стряхнул снег с воротника, не глядя, куда тот летит, и слишком уж осторожно, двумя пальцами, взял у Макара табурет, будто это был не табурет, а кассета со стеклом.

— Господин Вересов? — спросил гость негромко и, дождавшись кивка, продолжал: — Пётр Никифорович Багров. С Гороховой. Фотография моя, может, изволили видеть, — «Багров и сын», хотя сына-то у меня, по правде, нету, а так, для солидности. — Он перевёл дух. — Я к вам, Сергей Ильич, по делу. По делу, извините, странному. Вы меня, сде-

лайте милость, не гоните, не выслушав. Я не полоумный. Я, — он оглянулся на Макара, — я тридцать лет в ремесле, и такого ещё не видывал.

Вересов молча подвинул ему стул. Багров сел, поставил портфель на колени, расстегнул его медленно, как расстёгивают не портфель, а повязку, и вынул картонку, а из картонки — две карточки, которые положил на конторку рядышком, уголок к уголку, и накрыл сверху ладонью, будто не решаясь показать.

— Вот, — сказал он и убрал ладонь.

Вересов поглядел. И не сразу, надо отдать ему должное, нашёлся что сказать.

А было отчего и замешкаться, и даже, скажем прямо, моргнуть пару раз: двадцать лет он смотрел на чужие карточки, и двадцать лет его трудно было чем-либо удивить, но такого он, пожалуй, не видел ещё ни разу. Перед ним лежали не две карточки даже, а как бы два человека, слепленные из одного и того же — из одного костяка и одного света, — и всё же разные, как бывает разным человек в начале жизни и тот же человек на её исходе. И Вересов, не торопясь с разговором, снова и снова переводил взгляд с одной на другую, как переводят его с негатива на отпечаток, сверяя, где ушла, где проявилась, где соврала рука. И чем дольше он смотрел, тем холоднее и яснее делалось у него внутри, потому что он уже начинал понимать, что именно ему показывают, — а понимание это было из тех, после которых сон у человека де-

дается беспокойным.

А было отчего замешкаться. За двадцать лет он пересмотрел столько лиц, что, казалось, ни одно уже не могло его удивить: он знал наизусть все эти мелкие, предательские знаки, по которым мастер читает человека, как пономарь псалтырь, — и тень усталости под левым глазом, и складку у губ, и то, как дрожит или не дрожит у человека на снимке рука. Но тут перед ним лежали не два человека и даже не два лица. Тут лежало одно лицо, снятое дважды, — и время между этими двумя снимками, судя по всему, прошло не по человеку, а по карточке. Человек остался прежним, а бумага его состарилась. И это было уже не ремесло. Это была та самая дурная светопись, о которой Вересов знал, что она случается, но верил в неё так же неохотно, как врач верит в порчу.

Он поднял глаза на Багрова, и в этом взгляде было уже не любопытство, а то особое, холодное, цепкое внимание, с каким смотрят на вещь, которая наконец-то оказалась стоящей.

На первой карточке купец был моложав и гладок: сытая, спокойная физиономия, цепочка поперёк жилета, прищур человека, который только что удачно продал хлеб и не прочь продать ещё. На второй — той же позы, того же света, той же цепочки — лицо его было старше, осунувшееся, с глубокими тенями под глазами, с ввалившимися щеками и с сединой, которой на первой карточке не было и в помине. Один и тот же человек. Одна и та же съёмка. Два разных лица.

Макар, неслышно подошедший из-за спины, глянул через плечо и попятился, крестясь.

— Это, — сказал Багров, понизив голос, — снято с одной пластины. Вот ровно с одной. Я её сам снимал, год назад, к именинам. Купец мой, Шустов Тимофей Гордеевич. Солидный человек, хлебная торговля. — Он потрогал первую карточку. — Это я тогда и отпечатал. А это, — он ткнул пальцем во вторую, — я отпечатал намедни. С той же пластины. Год она у меня в шкафу пролежала, нетронутая, под замком, — я за это хоть сейчас под присягу. И вышла, гляньте, — другая.

Он замолчал и посмотрел на Вересова так, как смотрят на врача, от которого ждут, что он либо скажет «пустяки», либо — что уже серьёзнее — промолчит.

— А купец-то, — осторожно спросил Вересов, — что ж, жив-здоров? Я так понимаю, не за портретом же к нам.

Спросил он это будто бы между прочим, но сам, задавая вопрос, уже знал, что ответ будет нехороший. Так бывает у него всегда: сперва он задаёт вопрос, а уж потом, в ту секунду, покуда собеседник набирает воздуху, чувствует — по тому, как тот отводит глаза или как поправляет воротничок, — что ответ ему не понравится. И сейчас он это почувствовал. Багров, сидевший перед ним такой тихий и усталый, вдруг весь как-то сник ещё больше, и руки его, лежавшие на коленях, сжали картонку так, будто в ней лежала не карточка, а нечто такое, о чём и сказать-то страшно. Вересов, не торопя, ждал: он давно выучил, что иные слова надобно не вытяги-

вать, а дожидаться, как дожидаются, пока на бумаге проступит изображение. И Багров заговорил.

— Умер, — тихо сказал Багров. — В феврале. Год уже почти. От сердца, сказывали. А карточка, — он перевёл дух, — живёт. И не просто живёт, а, извольте ли видеть, стареет. — Он помолчал и, словно собравшись с духом, выпалил то, что, видно, давно не давало ему покоя: — Я, Сергей Ильич, человек неглупый и в своём деле, смею думать, не последний. Я бы и сам догадался, что тут нечисто. Да только вышло-то оно как-то так, что я уж и не знаю, чему верить: глазам своим или карточке. А это, извините, для нашего брата хуже всего. Потому что карточка для нас — всё равно что для вас, скажем, присяга. И коли карточка начинает врать, — он развёл руками, — так что ж тогда вообще правда?

Вересов слушал его и медленно кивал, и в этом его кивании было то особенное, профессиональное понимание, которого и ждал Багров, — понимание человека, который сам двадцать лет живёт среди негативов и знает, каково это, когда работа, которой ты верил всю жизнь, вдруг показывает тебе кукиш.

— Правда, Пётр Никифорович, — сказал он наконец, — это то, что останется на стекле, когда с него сойдёт всякая чужеродная дрянь. А карточка ваша не врёт. Ей просто помогли. Вот мы с вами и поглядим, кто помог и зачем.

В комнате сделалось тихо, только за окном на морозе трещали святочные плошки да Макар, не утерпев, переступил

с ноги на ногу.

— Пойдите, пойдите, — перебил Вересов, и в голосе его не было уже ни усмешки, ни лени. — Вы хотите сказать, что карточка эта, — он ткнул в «старую», — отпечатана вами намеренно с негатива, с которого год назад вышла вот эта, молодая? И что между ними, кроме времени, ничего не изменилось?

— Ничего, — с жаром подтвердил Багров. — Ровным счётом ничего. Пластина та же, бумага та же, руки те же. А вышло, гляньте, — другое лицо. Я, Сергей Ильич, сперва и сам глазам не поверил. Думал, пластину перепутал. Полез в шкаф — нет, всё по номерам: его пластина, Шустова. Тогда я её, грешным делом, под кран. Думал, пыль или, прости господи, плесень какая. Промыл, просушил, отпечатал заново — опять старик. И так три раза. Три раза, Сергей Ильич! — Он перевёл дух. — Я уж и к образам ходил. И к батюшке. Батюшка говорит: брось, Пётр Никифорович, это тебе за грехи знамение. А какие у меня грехи? Я, почитай, всю жизнь снимал честно. Ну и вот, пришёл к вам. Мне вас, — он понизил голос, — один человек навёл. Сказал: есть на Загородном фотограф, который всякую светописную нечисть разбирает, как фельдшер чирей.

— Нечисть, говорите, — Вересов покачал головой и усмехнулся. — Ну, поглядим, что за нечисть.

Вересов взял обе карточки двумя пальцами за уголки, как берут только что отпечатанный снимок, и поднёс к лампе,

поближе к свету. Впрочем, в тот же миг он опустил руку и нарочно прищурился, как прищуривается человек, которому не нужно смотреть долго, чтобы увидеть главное: он не хотел, чтобы Багров заметил, до какой степени он заинтересован. А заинтересован он был — и ещё как. Потому что бумага, на которой отпечатаны карточки, была, он это видел сразу, одна и та же: тот же фабричный знак на обороте, та же плотность, тот же тёплый тон. Значит, не бумага виновата. Значит, дело было в том, чего на бумаге не увидишь, — в стекле. И Вересов, глядя на две эти карточки, вдруг поймал себя на мысли, которой постыдился бы перед Багровым вслух: старика на второй карточке рисовали. Рисовали умело, почти любовно, как рисуют только те, кто всю жизнь имеет дело с негативами, — по миллиметру, по морщинке, так, чтобы и присяжный заседатель не отличил.

— Ну-с, Пётр Никифорович, — проговорил он вполголоса, поворачивая карточку к свету, — а ведь вы, сами того не зная, принесли мне не две карточки, а целый театр. Только играют в нём не на сцене, а на стекле. Старая привычка, въевшаяся за годы: бумагу он всегда смотрел сперва на просвет, потом впрямую, а уж потом — сквозь лупу, если дело того стоило. Багров, следивший за его руками, всё порывался что-то объяснить, но Вересов поднял ладонь, и тот осёкся: в такие минуты, когда мастер смотрит на работу, говорить не полагается.

И Вересов, чем дольше смотрел, тем явственнее чувство-

вал, как в нём, старое, профессиональное, начинает шевелиться то самое чувство, которое за двадцать лет ни разу его не подвело: что-то в этих двух карточках не сходилось. Не в лицах, не в свете, а в самой сути, как не сходится негатив с отпечатком, когда их подменили местами.

— Вы, батюшка, — медленно проговорил он наконец, — кажется, шутите. Негативы не стареют. — Он наклонил карточку к свету, и на стекле пенсне, которого у него не было, блеснула бы усмешка, будь оно надето. — Это уж, извините, не по вашей части. Это, скорее, по моей. Или по чьей-то ещё.

Он откинул упавшую прядь назад — привычным, почти машинальным движением — и усмехнулся той особенной усмешкой человека, который уже знает, что дело это он возьмёт.

— Вот что, Пётр Никифорович. Я не гадалка и не заклинатель. Я не ищу призраков. Я их проявляю. — Он помолчал, давая фразе лечь, и добавил тише: — Свет — это следствие, а я только подаю ему фонарь. Так что давайте-ка, голубчик, всё по порядку. И начнём мы не с карточек, а с вашего шкафа. Где негатив?

Багров, услышав это, весь как-то разом обмяк — не то чтобы испугался, а так, как обмякает человек, сваливший наконец с плеч ношу, которую нёс невесть сколько и не знал, кому отдать. Он закивал, засуетился, принялся собирать свои карточки, но руки у него дрожали, и карточки никак не хотели ложиться в картонку, и тогда Вересов, глядя

на эту дрожь, сказал негромко:

— Да вы не волнуйтесь, Пётр Никифорович. Негатив ваш никуда не денется. А вот что у него на стекле — это мы сейчас и поглядим. — Он поднялся, снял с вешалки шубу и, обернувшись к Макару, бросил: — Макар, лупу, фонарь и чистую пластину. Едем на Гороховую.

И, пропуская Багрова вперёд, уже на пороге, прибавил вполголоса, так, что слышал только Макар:

— И вот ещё что, брат. Чует моё сердце, дело это пойдёт куда дальше одной карточки. Так что калачи свои доедай по дороге — надолго, глядишь, задержимся.

Глава вторая. Штрихи на негативе

Багров, как выяснилось, был человеком старой школы — из тех, у кого в шкафу всякая пластина лежит в своём конверте, на конверте надписан номер, а под номером, мелко и аккуратно, — имя заказчика и год, и не дай бог перепутать. Вересов таких мастеров уважал особо: в их шкафах, знал он, и через двадцать лет найдёшь любую пластину, как в аптеке найдут любую склянку, — а это для нашего ремесла, где всё держится на памяти и на порядке, дороже иного таланта. Талант, говорил он, — вещь изменчивая, нынче есть, завтра нет, а порядок — он не подведёт: порядок, брат, сам себе талант.

Слушал он, впрочем, Багрова вполуха, а сам всё косился на портфель, который тот поставил на пол, у ножки стола, и не открывал, — и в голове у него уже складывалась та самая мысль, которую он пока не выговаривал вслух, а только прикидывал, как проявится она на стекле: коли негатив цел и не тронут, а карточки с него выходят разные, — стало быть, дело не в негативе. А коли не в негативе, то в чём? И Вересов, глядя на аккуратные, перетянутые тесёмочками конверты в шкафу Багрова, уже знал ответ, который и не хотел ещё произносить: в руках. В чьих-то руках, которые негатив этот когда-то держали. Вересов, уважавший порядок в чужом ремесле так же, как в своём, слушал его с удовольствием, но

слушал вполуха: перед ним на конторке лежали две карточки, и они не давали ему покоя.

— Стало быть, — сказал он, когда Багров дошёл до того, как год назад снимал Шустова к именинам, — негатив у вас и теперь цел?

— Цел-цел, — закивал Багров. — Говорю же, под замком. У меня, знаете ли, всякое добро по-военному: шкаф железный, ключ при себе, и даже супруга моя, царствие ей небесное, покойница, туда не лазила, потому как я, признаться, и ей не давал. — Он помолчал и добавил с той гордостью, с какой говорят о своей крепости: — Негатив для нашего брата — всё равно что для банкира вексель. Уронил, подменил, потерял — и конец репутации. Я за тридцать лет ни одной пластины не запорол и ни одной не потерял. И вот, извольте, — впервые в жизни со мной такое.

— А не извольте вы, Пётр Никифорович, себя раньше времени казнить, — усмехнулся Вересов. — Может, оно и не с вами. Может, оно с тем, кто к вашему шкафу подобрался. Скажите-ка лучше вот что: много ли народу знало, что у вас этот негатив есть?

— Да кому ж знать-то? — Багров развёл руками. — Шустов снимался, Шустов и знал. Потом, год назад, поверенный этот приходил, копию просил. Ну и, — он запнулся, — покойный-то ведь карточки свои раздавал, родне там, приказчикам. Мог кто-нибудь и про негатив вспомнить. Да только кому он, негатив-то покойника, надобен?

Вересов на этот вопрос отвечать не стал, но про себя отметил его, как отмечают на стекле царапину: вот она, первая ниточка. «Поверенный от наследников» просил у Багрова негатив — копию снять, — и вернул. Вернул — а копию снимал ли, бог весть. И, стало быть, был у этого поверенного в руках чужой негатив ровно столько времени, сколько надобно, чтобы успеть с ним сделать то, чего с негативами не делают порядочные люди. Три дня, если верить Багрову. Три дня — это не то что много, это, брат, целая вечность для руки, которая умеет держать карандаш и иглу. За три дня можно состарить человека на тридцать лет — и никто не заметит, потому что стекло молчит, а бумага верит.

— Поглядим, Пётр Никифорович, — сказал он наконец, поднимаясь. — Кому надобен, зачем надобен и с каких таких «наследников» спрос — это мы ещё выясним. А пока, — он усмехнулся, — пока я бы на вашем месте не огорчился, что ко мне пришли. Огорчаться надобно тому, кто думал, что негатив в шкафу — это как покойник в гробу: лежит и не встанет.

— Вот и я про то же думаю, — сказал Вересов. — Кому надобен. — И, помолчав, прибавил тише, словно про себя: — А надобен он, стало быть, тому, кому важно, каким покойник на карточках останется. И это, Пётр Никифорович, уже не про ремесло. Это про наследство.

— А ключ у вас один?

— Один. — Багров похлопал себя по жилету. — Вот он,

при мне. И второй, ежели надобно, — у мальчишки моего, у Ваньки, на связке. Да только Ванька этот — ему тринадцать лет, он у меня больше по части «подай-принеси», а к шкафу его и не подпускали. Да и зачем ему, сами посудите, купец Шустов?

— Зачем купец Шустов кому-то понадобился, — сказал Вересов, — это мы ещё поглядим. А пока, Пётр Никифорович, сделайте милость, съездим к вам. Хочу на негатив ваш глянуть. На тот самый.

Он поднялся, снял с вешалки шубу и, обернувшись, встретился взглядом с Макаром, который уже стоял в дверях тёмной комнаты с фонарём и с той особенной, заранее недовольной миной, какая появлялась у него всякий раз, когда барин собирался «по делу», ибо «по делу» означало, что таскать всё опять Макару.

— Лупу возьми, — бросил Вересов. — И пластину чистую. Авось пригодится.

Решено было ехать тотчас, не откладывая: Вересов, когда дело задевало его за живое, не любил давать ему отлёживаться. Карточки он уложил в плоский конверт, перетянул тесьмой и сунул за пазуху, поближе к сердцу, — по давней привычке, выработанной за годы: улики, как и деньги, носят при себе. Сам же, накидывая шубу, задержался у зеркала, привычным движением откинул со лба упавшую прядь и подмигнул своему отражению — не из щегольства, а так, для куража, как подмигивают перед трудной съёмкой.

— Барин, — ворчал Макар, кутаясь в тулуп, — и чего это вы всякий раз в чужое дело лезете, как в тёмную комнату, — не постучавшись? Покойник-то, поди, уж год как в земле. Ему-то теперь всё едино, старый он там или молодой.

— Ему, может, и едино, — отвечал Вересов, отворяя дверь на мороз, — а вот живым не едино. Ты, Макар, прикинь: живёт человек, а про него весь город говорит, будто он умер дряхлым стариком. Да ещё и карточки тому порукой. Это ж, брат, не просто сплетня — это клевета на покойника. А клевета на покойника — всё равно что кража у мёртвого из кармана. Некрасиво. — Он усмехнулся. — А я, знаешь ли, эстет.

На Гороховую поехали в санях, втроём, и всю дорогу Багров, сидевший рядом с Вересовым, рассказывал про Шустова — как тот приехал в ателье в январе восемьдесят третьего, весёлый, в новой шубе, как снимался «безо всяких там фокусов», только цепочку поправить просил, и как после съёмки заказал дюжину карточек «для родни и для конторы». Рассказывал он складно, с любовью к делу, и Вересов слушал его вполуха, а сам всё вертел в уме те две карточки, что вёз с собой.

Гороховая встретила их тем особенным, глуховатым утренним гулом, какой стоит над торговыми улицами в мороз: скрипели полозья, покрикивали лоточники, и из дверей лавок, при каждом их хлопке, вырывались клубы пара, будто там, внутри, за прилавками, топились невидимые печи.

Вересов, сидя в санях и запахнувшись плотнее, глядел по сторонам с тем цепким, ничего не упускающим вниманием, с каким привык глядеть на улицу всякий, кто живёт среди людей и их тайн: Гороховая была для него не просто улицей, а вроде витрины, на которой каждый дом выставлен со своей изнанкой. Вот угловой мелочной лавочник, провожающий взглядом сани, — знает, поди, всех, кто входит в дом Багрова, и всех, кто выходит; вот городской, зевающий на перекрёстке, — запомнил, может, и того, в перчатках, что приезжал сюда летом «для копии»; вот дворник, скребущий панель, — а дворники, знал Вересов, видят больше иных свидетелей, только спрашивать их надо умеючи да не в лоб. Улица, по которой они ехали, была вся, до последнего фонаря, свидетелем, — и это Вересова радовало, как радует мастера хороший, ровный свет перед съёмкой. Вывеска «Фотография Багров и сын» — железная, выцветшая, с облупившимся по углам золотом — висела над самой колбасной, и Вересов, задрав голову, отметил про себя, что вывеске этой лет двадцать, а то и поболее: такие вешают раз и навсегда, как вешают на века. Стало быть, и фотография тут старая, с корнями.

— И сына, говорите, нету? — спросил он, кивая на вывеску, пока они поднимались по узкой, крутой лестнице, от которой пахло воском и жареным луком.

— Нету, — вздохнул Багров, отпирая дверь. — Бог не дал. А вывеску переделывать — рука не поднимается: покойная

супруга, царствие ей небесное, самолично её заказывала, когда ещё надеялась. Вот и висит. Мне уж с ней, почитай, и сжиться легче, чем без неё.

Он отпер и пропустил гостей вперёд, и Ванька, мальчишка лет тринадцати, светловолосый, серьёзный, в фартуке не по росту, вынырнул откуда-то из-за ширмы и замер, уставившись на Вересова во все глаза.

— Ванька, подь сюда, — позвал Багров. — Вот, гляди, кто к нам пожаловал. Это тот самый Вересов, про которого я тебе сказывал. Который с нечистью на снимках воюет. — И, повернувшись к гостю, прибавил не без гордости: — Ученик мой. Третий год при деле. Растёт, шельмец, скоро и сам снимать начнёт.

Ванька поклонился молча, но глаз с Вересова не свёл, и во взгляде его читалось такое почтительное любопытство, с каким смотрят на заезжего фокусника.

Ателье у Багрова помещалось на втором этаже, над колбасной лавкой, и пахло в нём не колбасой, а тем особенным, кисловато-горьким духом старой фотографии, который не выветривается и не надоедает, а, напротив, действует на своего человека успокоительно, как действует на моряка запах смолы. Ванька, получив от хозяина распоряжение «сидеть тихо и не мельтешить», сел в угол и стал смотреть на Вересова так, как смотрят на знаменитость.

Багров отпер железный шкаф, постоял перед ним секунду, как стоят перед открытым сейфом, и вынул с верхней полки

конверт из плотной бумаги. На конверте, углом, было выведено каллиграфическим, старомодным почерком: «Шустов Т. Г., 4 февраля 1883, № 118».

— Вот, — сказал он и положил конверт на стол, не раскрывая. — Негатив.

Сказал он это так, как говорят о вещи, которую несут на весы правосудия: торжественно и чуть испуганно, — и Вересов, глядя на конверт, невольно подумал, что перед ним сейчас не просто пластина в бумаге, а, почитай, сам покойник, который год пролежал в шкафу и теперь, по чужой воле, должен подняться и сказать за себя. В нашем ремесле, знал он, так оно и бывает: негатив — это не вещь. Негатив — это свидетель, которого можно сто раз переспросить, и он сто раз ответит одно и то же, потому что свет не лжёт и не забывает. И оттого Вересов, прежде чем взять конверт, на секунду задержал дыхание, как задерживают его перед тем, как отворить дверь, за которой — неизвестно что.

Вересов развернул конверт бережно, двумя пальцами вынул пластину и подошёл с ней к окну. Свет в тот день был тот самый, какой фотограф любит больше всего, — серый, ровный, северный, без теней и без бликов, при котором всякая работа видна насквозь. Он поднял пластину на уровень глаз, потом медленно повернул к свету и долго смотрел, не дыша, как смотрят в воду, на дне которой что-то лежит.

На стекле, лицом к нему, был Шустов — молодой, гладкий, с цепочкой и с прищуром. Негатив как негатив: чистый,

ровный, снятый умелой рукой. И всё же что-то было не так.

Он рассматривал негатив долго, не меньше четверти часа, и за это время не проронил ни слова, только изредка, не глядя, протягивал руку, и Макар, знавший эту его манеру, вкладывал в неё то лупу, то платок, то перочинный ножичек, которым Вересов, не касаясь эмульсии, пробовал кромку стекла. Багров и Ванька стояли поодаль, боясь дышать, и только переглядывались: у мастеров, знали они, такие минуты дороже всяких слов.

А смотрел Вересов в эти четверть часа не на лицо Шустова — на лицо он взглянул и отложил, как вещь известную. Смотрел он на то, на что глядят только самые въедливые, — на края, на углы, на густоту эмульсии, на то, как легли тени у виска и у рта. Ибо всякая ретушь, будь она хоть трижды искусна, оставляет след не там, где рисуешь, а там, где стираешь. Карандаш можно положить так, что глаз не отличит, — но под лупой, при хорошем свете, обязательно выступит та лёгкая, почти невидимая муть на месте стёртого, тот самый призрак, который и выдаёт руку. И чем дольше Вересов смотрел, тем яснее видел: вот тут, у виска, эмульсия тронута. Вот тут, под скулой, — тончайший след. Стекло было тронuto, и тронuto умелой рукой, которая знала, что делает, — и знала, что за это бывает.

Он бережно опустил негатив в конверт и только тогда заговорил, и голос у него был тихий и какой-то почти ласковый, каким говорят о вещах, уже решённых.

— Вот что, Пётр Никифорович, — проговорил наконец Вересов, опуская негатив, — вы мне, как коллега коллеге, скажите по совести: это у вас свет так падал, или это мне мерещится?

— Что мерещится? — не понял Багров, подступая ближе.

— А вот это, — Вересов поднял негатив к окну и повёл по нему ногтем, не касаясь, на полвершка от стекла. — Гляньте на лоб. На негативе лоб у вашего купца тёмный — стало быть, на отпечатке светлый, чистый. А между бровей, видите, будто ниточка светлая пробегает? Это на отпечатке выйдет как раз морщиной. Морщиной, которой у живого Шустова, зуб даю, не было. — Он перевёл нготь к виску. — А тут, где эмульсия процарапана, — тут на отпечатке седина и выйдет. Та самая, что вас, батюшка, к образам погнала. И вот что я вам скажу, — он обернулся к Багрову, — это не знамение. Это работа. И работа, извините за прямоту, первого сорта.

— Лупу, — не оборачиваясь, сказал Вересов.

Макар подал лупу, и Вересов, склонившись над пластиной, повёл ею по лицу купца — по лбу, по щекам, по вискам. И по мере того как он вёл, брови его, высокие, подвижные, медленно, как стрелки часов, ползли вверх.

— Ну-ка, Пётр Никифорович, — сказал он наконец, — подойдите. Вы на этот негатив, часом, не глядели с той поры, как сняли?

— Как снял, так и не глядел, — сознался Багров, подхо-

дя. — Чего на него глядеть? Снял, отпечатал, убрал. Дело житейское.

— То-то и оно, что житейское, — усмехнулся Вересов. — А глядеть, батюшка, надо было. Вот, извольте. — Он подвёл его к окну и вложил лупу в руку. — Лоб. Видите?

Багров прищурился, повёл лупу, и лицо его медленно вытянулось.

На лбу купца, едва заметные в ровном сером свете, лежали тонкие, как волос, штрихи — не трещины эмульсии, не царапины от времени, а ровные, осмысленные линии, какими не покрывается стекло само. Это был карандаш. По негативу, по самой эмульсии, прошлись графитовым карандашом — тем самым, каким ретушируют портреты, убирая морщины. Только тут им морщины не убирали. Тут их — дорисовывали.

— А теперь виски, — тихо сказал Вересов. — Видите седину?

Багров вгляделся и ахнул. Там, где у купца должны были быть гладкие, тёмные на негативе виски, эмульсия была процарапана — тонко, ювелирно, остриём иглы, — и эти царапины, на отпечатке, давали как раз то серебро, ту седину, которой год назад не было.

— Господи помилуй, — выдохнул Багров и опустил руку с лупой. — Так это... это же работа. Ретушь. Да какая ретушь! По негативу! Кто ж это, прости господи, у меня в шкафу хоззяйничал?

— И я о том же думаю, — сказал Вересов, забирая у него лупу. — Только, Пётр Никифорович, это ещё полбеды. Полбеды — что по негативу прошлись карандашом. Беда — что прошлись не по вашему.

Он взял пластину, бережно опустил её на конверт и указал на угол:

— Гляньте-ка. Где ваш номер?

Багров нагнулся. В углу негатива, где у всякой его пластины был процарапан номер — 118, — теперь ничего не было. Вернее, было: едва заметный след, будто номер выскоблили и на его место не поставили ничего.

— Я на свои негативы, — сказал Вересов, понизив голос, — всегда в углу царапаю номер и год. И вам, вижу, завёл такой же обычай. А тут — чисто. Это, батюшка, не ваш негатив. Это копия. Снятая с вашего, да копия: стекло другое, потоньше, и угол срезан не по-вашему. Ваш негатив кто-то взял, а вам в конверт подложил вот этот. А на нём — уже поработали. Карандашиком и иголочкой. Чтобы купец Шустов вышел не молодым, а старым.

— Да кто ж? — прошептал Багров, и лицо у него сделалось совсем белое. — Кому это надобно, господи ты боже мой?

— Вот это, — сказал Вересов, откидывая прядь со лба, — самый интересный вопрос во всей нашей истории. И отвечать на него надобно не здесь. — Он помолчал и вдруг спросил, вскинув бровь: — Пётр Никифорович, а не вспомните

ли вы, не брал ли у вас кто этот негатив? Ну, хоть на денёк, хоть «для копии»? Припомните хорошенько. Год, два — всё едино.

Багров сел, потер лоб и задумался так, что у него даже бакенбарды шевельнулись.

— Брали, — сказал он наконец. — Ей-богу, брали. Летом это было, в июне. Приходил ко мне господин один, солидный такой, в перчатках, сказался поверенным наследников покойного Шустова. Дескать, надобно для надгробного портрета снять копию с той самой карточки, а то у наследников, дескать, все отпечатки разошлись по рукам, а негатив-то, извините, у вас. Ну, я, дурак старый, и дал. Дал ему негатив, он через три дня вернул, и я, признаться, тогда ещё подивился: вернул, а копию снимал ли — бог весть. Да я и не глядел.

Вересов, слушая, машинально потирал шрам на скуле — привычка, выдававшая у него, как выдавала у иных дрожь в голосе, крайнюю степень сосредоточенности.

— А не припомните ли вы, — спросил он, — как он выглядел? Ну, не лицом — лицо всякий может иное надеть, — а вот ростом, повадкой, руками? Вы сказали, в перчатках. А росту какого был? И голос?

Багров прикрыл глаза, вспоминая, и по лицу его видно было, как он, человек, всю жизнь запоминавший лица на стекле, вытаскивает из памяти то, что видел раз, да и то мельком.

— Росту хорошего, — сказал он. — Выше меня на полго-

ловы, а я, как видите, не мал. Худой, держался прямо, как бывший военный. Говорил негромко, складно, и всё «сделайте одолжение» да «будьте любезны». А рука у него, — Багров вдруг оживился, — рука у него была, извините за выражение, не мужская. Нежная такая, белая, и пальцы длинные. Он, как конверт-то с негативом брал, я ещё подивился: такими пальцами не стекло трогать, а на рояле играть. — Он развёл руками. — Вот вам и весь портрет. Больше не вспомню.

— А фамилию? — мягко настаивал Вересов. — Ну хоть как-нибудь, хоть на какую букву?

— Нет, — Багров покачал головой. — Фамилию не назвал. Сказал только: «поверенный, дескать, от наследников». И визитную карточку не оставил. Да я, грешным делом, и не просил: деньги-то он вперёд положил, по-хорошему. А с деньгами, знаете ли, всякий делается рассеян.

— Это уж точно, — кивнул Вересов, вставая. — С деньгами всякий делается рассеян. И, заметьте, Пётр Никифорович, — в ком-ком, а в этом рассеянии, сдаётся мне, и весь корень нашего дела.

— А как он вам представился? — спросил Вересов, чувствуя, как внутри у него всё подбирается, точно перед съёмкой. — Как звать-величать?

— Фамилию не помню, хоть убей. — Багров беспомощно развёл руками. — А лицо помню. И то, что в перчатках. И что рука у него, помнится, была лёгкая, не купеческая. Он

всё конверт мой так брал, двумя пальцами, будто стекло боится память. Словно сам из нашего брата.

— Поверенный, который боится память стекло, — повторил Вересов задумчиво. — Это, Пётр Никифорович, уже кое-что. Это, пожалуй, побольше, чем иная фамилия.

Он отошёл к окну и стал смотреть вниз, на Гороховую, где в морозном сумраке уже зажигали фонари. Мысли его, как это всегда с ним бывало, разом легли ровными рядами, точно отпечатки на просушке.

Негатив подменён. Ретушь сделана по копии, карандашом и иглой. Копию снимал тот, кто умеет снимать. А заказ — от наследников, которым понадобился «надгробный портрет». И выходит из этого нечто до того простое и до того нехорошее, что Вересов даже поморщился: не купец на снимке старел. Купца на снимке — старили.

— Пётр Никифорович, — сказал он, оборачиваясь, — а скажите-ка вы мне вот что. Кто в нашем городе умеет по негативу так работать, что и не разглядишь? Карандашом — морщину, иглой — седину? Кто у нас в Петербурге первый мастер по этой части?

Багров задумался ненадолго и ответил, и по тому, как он ответил — нехотя, словно не хотел называть, — Вересов понял, что ответ этот не из приятных.

— Глядите сюда, — продолжал Вересов, склоняясь над негативом вместе с Багровым. — Ретушь, батюшка, бывает двух родов. Одна — благородная, портретная: ею художник

убирает с негатива то, чего заказчику видеть не положено, — прыщи, морщины, дурную тень. Для того и держат при хороших ателье ретушёров, а при ателье поплоче — сами мастера вечерами над пластинами колдуют. А есть ретушь другая — обратная. Ею не убирают, а прибавляют. Морщину там, где её не было, тень там, где гладко. Это, Пётр Никифорович, уже не портрет. Это, извините, сочинение. Фальшивый документ на стекле.

— Да кто ж на такое способен? — ахнул Багров. — Это ж сколько руки надобно! Морщину на негативе навести — это ж, почитай, тоньше, чем по стеклу гравюру резать. И карандаш-то на эмульсии не всякий возьмёт: чуть нажал — и всё пропало.

— Вот-вот, — кивнул Вересов. — Потому я вас и спрашиваю про мастера. Не каждый в Петербурге так умеет. Раньше, я слышал, умел один. Может, и теперь кто остался из старой школы — из тех, что ещё по стеклу карандашом работали, до всякой там печати на желатине.

Багров задумался, и видно было, как он перебирает в уме всех, кого знал и слышал за тридцать лет ремесла, — и вдруг лицо его помрачнело.

— Был такой мастер, — сказал Багров. — Маркел Лукич Дёмин. Золотые руки. Только руки те, Сергей Ильич, давно уж в бутылке плавают. Спился человек. А раньше — первый по ретуши был, весь Невский к нему ходил.

— Спился, говорите. — Вересов усмехнулся. — Это ниче-

го. Спившиеся мастера — они, батюшка, как негативы: тронешь умеючи — и всё проявится, что надо. Где он теперь, не знаете?

Багров только пожал плечами. А Вересов уже накидывал шубу, и Макар, понявший всё без слов, уже разбирал на лавке фонарь и калачи, прикидывая, надолго ли их теперь хватит.

За окном, на Гороховой, в синих сумерках трещали фонари, и Вересов, глядя на них, подумал, что сегодня, пожалуй, спать не придётся. Потому что где-то в Петербурге сидел человек, которому очень нужно было, чтобы покойный купец на своей собственной карточке выглядел стариком. И человек этот, судя по всему, своего не упускал.

— Макар, — сказал Вересов, — ты не калачи прячь. Ты мне скажи: где у нас на Сенной живёт всякая тёмная фотографическая душа? Ну, которая в подвалах сидит и по ночам печатает?

Макар почесал в затылке и ответил не сразу:

— Дык известно где, барин. На Лиговке. Или на Сенной, во дворах. Где подешевле, там и душа.

И они поехали — сперва на Лиговку, потом, покрутившись среди её мрачных, продутых дворов, на Сенную. Места эти Вересов знал не хуже, чем собственную тёмную комнату: именно здесь, в полуподвальных каморках за облупленными вывесками, и жило то ремесло, которое в газетах называли «дешёвой светописью», а промеж себя — просто «хал-

турой». Тут снимали для паспортов и для полиции, печатали «на память» солдатам и приезжим, ретушировали лица невестам и затирали морщины старухам, и всякий из здешних мастеров, даже самый последний, умел если не читать по негативу, то по крайней мере подправлять его так, чтобы заказчик остался доволен. А иной умел и больше. И Вересов, обходя эти дворы с Макаром, приглядывался не к вывескам, а к окнам: искал то, чего с улицы не видно, — тёмное оконце, занавешенное плотно, из-под которого по ночам сочится слабый красный свет. Такой свет, знал он, и есть верный признак человека, работающего не на дневную публику, а на ночных заказчиков.

И впрямь, подумал Вересов, глядя, как за окном на Гороховой догорает короткий зимний день, — подешевле. Всегда подешевле. Ремесло наше, как и всякое, имеет два этажа: наверху — ателье с бархатными креслами и матовым светом, где снимают купцов и банкиров, а внизу, в подвалах, — те, кто этими купцами и банкирами, по сути, и распоряжается, сам того не ведая: ретушёры, копиисты, печатники, вся та тёмная, терпеливая армия, без которой ни один парадный портрет не вышел бы таким, каким его видят на стене. И всякий, кто хочет что-нибудь сделать с лицом — состарить его, омолодить, а то и вовсе убрать с карточки, — рано или поздно спускается в эти подвалы. Ибо там, внизу, не спрашивают, зачем. Там спрашивают, сколько.

— Ну вот что, — сказал Вересов, запахивая шубу, — зав-

тра, Макар, поедem на Лиговку. А нынче — к Багрову, негатив глядеть. И потом, — он усмехнулся, — потом, глядишь, и до Морской доберёмся. До самой, брат, верхней комнаты, где всё это и затевалось.

Глава третья. Ближний круг

Однако прежде чем ехать на Лиговку, Вересов решил поглядеть на тех, ради кого, быть может, всё это и затевалось. Ибо он давно выучил простую истину: чтобы понять, кому понадобилось старить купца на снимке, надобно сперва поглядеть на тех, кто купца пережил. А пережил его, судя по всему, целый дом — и каждому из этого дома от «старой» карточки был свой резон.

Предлог он придумал тотчас: заявиться к вдове как фотограф, которому покойный, дескать, заказал перед смертью карточки, да не успел получить, — а карточки готовы, вот и извольте. Предлог был шаткий, но тем и хорош: шаткий предлог, знал Вересов, в чужом доме заставляет людей говорить охотнее, ибо всякий, кому есть что прятать, непременно попытается предлог этот перевернуть.

— Дом Шустова, говорите, на Морской? — переспросил он у Багрова, уже стоя в шубе. — А что за дом? Купец, я понимаю, был не бедный?

— Не бедный, — подтвердил Багров. — Хлебная торговля да пароходная контора. Особняк свой, кариатиды по фасаду. Я у него, признаться, и снимал-то раз: к именинам, дома. Он меня, старика, на дом и выписывал, чтобы не тащился он сам, дескать, в ателье сниматься. — Багров усмехнулся. — Важный был человек, хоть и простого обхождения. И дом —

под статью.

— Ну, вот и славно, — сказал Вересов, застёгиваясь. — Раз дом такой, стало быть, и вдову его посмотрим. Только вы, Пётр Никифорович, сделайте милость, пока помолчите о нашем с вами разговоре. Никому. Даже Ваньке вашему не рассказывайте, что я негатив у вас глядел. Мне надобно, чтобы на Морской обо мне покуда ничего не знали.

— Это можно, — с готовностью согласился Багров. — А сами-то вы с чем туда явитесь? С пустыми руками?

— С пустыми не явлюсь, — усмехнулся Вересов. — Явлюсь с карточками. Дескать, покойный заказывал, да не успел получить. А карточки готовы — извольте. Предлог, конечно, шаткий, — прибавил он, — да тем и хорош: послушаю, кто и как его переверёт.

Дом Шустова стоял на Морской, тяжёлый, трёхэтажный, с кариатидами и с той солидной, чуть хмурой осанкой, какая бывает у особняков, знающих себе цену. Вересов поднялся по вычищенной лестнице, позвонил и, пока ждал, оглядел дверь: медная дощечка, новёхонькая, «Т. Г. Шустовъ», а под ней — ещё свежая, явно недавно привинченная, «Торговый домъ Шустовыхъ и К». Наследники, стало быть, уже хозяйничают, подумал он, и, усмехнувшись про себя, поправил шарф.

Отворила ему горничная — круглолицая, расторопная, в накрахмаленном переднике, — и, выслушав, куда-то исчезла, оставив его в прихожей, где пахло воском, свечами и ещё

чем-то тонким, неуловимым, что Вересов определил бы как запах покойного достатка, который ещё не успел осесть. Пока он ждал, он успел разглядеть прихожую как следует — а прихожие, знал он, куда красноречивее гостиных. На вешалке, рядом с траурным платьем вдовы, висело несколько мужских шуб, и среди них одна — касторовая, на дорогом меху, с бобровым воротником — выделялась тем, что была явно моложе и щеголеватее прочих. Рядом, на подставке, стояла трость чёрного дерева с серебряным набалдашником, а на ней, небрежно наброшенные, — перчатки. И Вересов, глядя на эти перчатки, невольно вспомнил слова Багрова: «в перчатках, рука нежная, белая». Он не стал ничего трогать, только отметил про себя и шубу, и трость, и перчатки — и, усмехнувшись, подумал, что «поверенный от наследников», пожалуй, не так уж и далеко ушёл от наследников: вот он, судя по шубе, по трости, — тут же, в доме.

Ждать пришлось недолго.

Горничная провела его дальше, в большую залу, где было полутёмно от задёрнутых портьер и тихо, как в церкви перед службой. Вересов, человек, привыкший всякую комнату читать, как негатив, ещё с порога отметил про себя и эту полутьму, и портьеры, и то, что часы на камине, бронзовые, с амурами, стоят, и что в углу, на столике, под траурной кисей, лежит стопка визитных карточек — гости, стало быть, всё ещё ездят с соболезнованиями, хотя году скоро.

И ещё он отметил портрет.

Он висел над диваном, в золочёной раме, и из полутьмы, из-под этой тяжёлой, дорогой позолоты, на вошедшего глядел Шустов — тот самый, знакомый уже по карточкам, — но не молодой, а постаревший, с тенями под глазами и с сединой в висках. «Старая» карточка, но большая, парадная, во весь рост. Вересов скользнул по ней взглядом и тотчас отвёл глаза, чтобы не выдать себя раньше времени, но внутри у него всё подобралось, как подбирается перед съёмкой: вот он, подумал он, ещё один «стареющий» Шустов. И висит он здесь не для красоты. Он висит здесь как свидетель. Как алиби.

В залу, неслышно ступая по ковру, вошла женщина, и Вересов, обернувшись на шорох, на секунду забыл, зачем пришёл.

Полина Андреевна Шустова была из тех женщин, про которых говорят «молодая вдова», и в этом слове — «вдова» — было для неё как будто маловато. Лет тридцати, не больше, в чёрном платье, сидевшем на ней так, как сидит только то, что шито на заказ, она шла по гостиной неслышно, и лицо её — спокойное, бледное, с тёмными, чуть припухшими от недавнего плача глазами — было при этом настолько красиво, что Вересов, человек к женской красоте привычный, поймал себя на мысли: такое лицо на стекле вышло бы отменно, вот только глаза надо снимать не сегодня, а завтра, когда высохнут. Он вообще, при всей своей иронии, умел ценить красоту по-мужски, спокойно, как ценят хорошую по-

году или добротню сделанную вещь, — и оттого взгляд его, когда он поклонился вдове, был не льстив и не маслен, а просто внимателен, как у мастера, прикидывающего, как ляжет свет. Полина Андреевна, привыкшая, видно, к иным взглядам, чуть подняла бровь и, помедлив, ответила ему тем же долгим, изучающим взглядом, каким глядят на человека, который пришёл в дом под чужим предлогом и, кажется, сам это понимает. И в этом её взгляде Вересов впервые увидел не вдову, не красавицу, а игрока — хладнокровного, вышколенного, умеющего ждать. Такого игрока, подумал он, обмануть труднее, чем запугать. И надобно будет играть с нею не на испуг, а на любопытство.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.